

*К. С. Ланда**

МОТИВ ДЕТСТВА В «РАЗГОВОРЕ О ДАНТЕ» ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

«Разговор о Данте» справедливо принято считать манифестом поэтики Мандельштама, а портрет его героя — автобиографической проекцией самого автора эссе. Несмотря на то, что этому тексту посвящено большое количество научных работ, не до конца рассмотренным остается вопрос о том, насколько мотивы самой «Комедии», вынесенные за поля отечественной дантологии, повлияли на формирование мандельштамовского образа Алигьери. Одной из основных черт этого образа является детскость/инфантильность. Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы определить, в какой мере данная характеристика совпадает с реальной чертой главного героя «Комедии», какие концепции стоят за ней у Мандельштама и у Данте и какое функциональное значение она имеет в «Разговоре». Для этого нами проводится сопоставительный анализ мотивов детства в эссе и в поэме с опорой как на мандельштамоведческие, так и на дантологические исследования.

Ключевые слова: «Разговор о Данте», О. Мандельштам, Данте, «Божественная Комедия», мотив детства, М. Л. Лозинский, В. Я. Брюсов, Вяч. Иванов, символисты, Вергилий, Беатриче.

K. S. Landa

THE THEME OF CHILDHOOD

IN OSIP MANDELSTAM'S "CONVERSATION ABOUT DANTE"

The "Conversation about Dante" is generally considered as Mandelstam's poetry manifesto and its hero as his autobiographical projection. Despite the large number of scholarly works devoted to this essay, the extent to which the themes of the "Commedia" — when considered beyond the context of Dante scholarship in Mandelstam's Russia — could have influenced Mandelstam's image of Dante remains to be examined in a comprehensive manner. One of the main characteristics of this image is its childlikeness/infantilism. The aim of the present article is to determine to what extent the protagonist of the "Commedia" possesses this

* Ланда Кристина Семеновна, PhD, преподаватель, Болонский университет (Италия); kristina.landa2@unibo.it

trait, what significance this has in Mandelstam and in Dante and what function this serves in the “Conversation”. To this end, I shall undertake a comparative analysis of the theme of childhood in Mandelstam’s essay and in Dante’s poem, drawing on both Mandelstam and Dante scholarship.

Keywords: “Conversation about Dante”, Osip Mandelstam, Dante, “Divine Comedy”, motive of childhood, Mikhail Lozinsky, Valery Bryusov, Vyacheslav Ivanov, the Symbolists, Virgil, Beatrice.

На дантовскую тему в творчестве Осипа Мандельштама, и в частности об эссе «Разговор о Данте», написано очень много (за подробной библиографией отсылаем к статье Л. Г. Пановой [30, с. 219–220]), но тема по-прежнему актуальна: подтверждением служит недавно вышедший том [31], где исследуется рецепция Данте в русской литературе Серебряного века и особое место уделяется «Разговору» [31, с. 355–379]. Общим для большинства работ является тезис, что мандельштамовское эссе — это манифест поэтики его автора, а не дантологический труд или комментарий к «Божественной Комедии» (на что, возможно, претендовал сам Мандельштам) [9, с. 64–72; 32, с. 534]. Что касается образа Алигьери в «Разговоре», то он, по мнению мандельштамоведов, является, в принципе, автобиографической проекцией: так, Ю. И. Левин считает, что Мандельштам приписывает Данте свои черты разночинца [16, с. 142]; по выражению Пановой, образ Данте — «растворение» Мандельштама в собственном «самообразе» [29, с. 85]; Клер Кевена даже полагает, что в мандельштамовском Данте запечатлелся еврейский комплекс автора эссе [47, с. 210–214]. Однако в дополнительной разработке, на наш взгляд, нуждается вопрос, играют ли какую-либо роль мотивы самой дантовской «Комедии» в построении Мандельштамом образа Данте; совпадают ли какие-либо реальные черты образа Данте-персонажа и интересы Данте — автора «Комедии» с характеристиками, приписанными персонажу и автору поэмы Мандельштамом. Речь при этом идет не об известных и многосторонне исследованных в отечественной рецепции мотивах, но, скорее, о тех аспектах «Комедии», которые привлекают внимание в основном зарубежных ученых и остаются не охваченными в русской традиции. Любопытно выяснить, могли ли интуитивные прозрения Мандельштама, нарушающие привычные нам каноны, каким-то образом соответствовать наблюдениям профессиональных комментаторов «Комедии». Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы дать частичный ответ на этот вопрос, сопоставив специфические черты мотива детства в «Разговоре» и в дантовской поэме. В нашем анализе мы будем опираться как на мандельштамоведческие, так и на дантологические работы.

Рассмотрим, во-первых, следующий эпизод конечной редакции «Разговора»:

... Поэма самой густолиственной своей стороной обращена к авторитету — она всего широкошумнее, всего концертнее именно тогда, когда ее голубит догмат, канон, твердое златоустово слово. Но вся беда в том, что в авторитете или, точнее, в авторитарности мы видим лишь застрахованность от ошибок и совсем не разбираемся в той грандиозной музыке доверчивости, доверия, тончайших, как альпийская радуга, нюансах вероятности и уверованья, которыми распоряжается Дант.

Col quale il fantolin corre alla mamma.
(*Purg.*, XXX, 44)

Так ластится Дант к авторитету [23, с. 184].

Мандельштам цитирует здесь 44-й стих XXX песни «Чистилища»: «С каким ребенок бросается к маме» [36, с. 592], являющийся частью эпизода, где Данте, увидев Беатриче в земном Раю, безуспешно оборачивается к Вергилию за поддержкой:

volsimi a la sinistra col respitto Я повернулся влево с тем доверием,
col quale il fantolin corre a la mamma с каким ребенок бросается к маме,
quando ha paura o quando elli è afflitto, когда боится или огорчен.
(*Purg.* XXX, 43–45)

(Здесь и далее цитаты из оригинального текста «Комедии» приводятся по каноническому изданию Дж. Петрокки, представленному на сайте Итальянского Дантовского общества (*Società Dantesca Italiana*) [45]. Ради большей точности при сопоставительном анализе мы приводим не перевод М. Л. Лозинского, а наш подстрочник. — К. Л.)

Л. Г. Степанова и Г. А. Левинтон, которым принадлежит, по-видимому, наиболее тщательный анализ параллелей между мандельштамовским и дантовским языком, дают следующее примечание к этой строке: «Данте оборачивается к Вергилию с *таким выражением* (курсив здесь и далее наш. — К. Л.), с каким ребенок бросается к матери, когда ему страшно или надо, чтобы пожалели» [36, с. 592]. Между тем, среди комментаторов Данте существует целая дискуссия на тему, что означает слово *respitto*, которое Степанова и Левинтон переводят как «выражение» (очевидно, воспроизводя первую из версий, дающихся в комментарии к поэме А. М. Кьяваччи Леонарди 1991–1997 гг.) [36, с. 532, 592; 49]. При этом авторы сами указывают в предисловии к своим комментариям, что Мандельштам, скорее всего, пользовался одним из переизданий комментария Скартаццини (1872–1928) [36, с. 531]. А в нем хотя и перечисляются разные варианты, но предпочтение отдается другой трактовке слова *respitto*: не «выражение», а «доверие», как перевели мы в подстрочнике:

Действительно, испуганный и огорченный ребенок бежит к маме именно за утешением и поддержкой. Но какое же происхождение можно и должно приписать термину «*respitto*»? Он происходит от провансальского *respieit*, что означает доверие, надежду, как было показано Наннуччи [62; 63].

Версия о провансальском происхождении дантовского слова могла импонировать Мандельштаму из-за его любви к французскому средневековью [42, с. 63–76], но, даже если и не допускать такого предположения, несомненно можно утверждать, что русский автор использовал дантовскую цитату о ребенке именно для того, чтобы подкрепить свой тезис о доверии героя к авторитетам — в частности богословским, — о которых и идет здесь речь.

Доверие к авторитетам связано для автора эссе с готовностью подчиниться, быть ведомым и опекаемым. В самом деле, герой «Комедии» отождествляется далее со студентом (согласно Л. Пановой, в «экзаменационном эпизоде» Ман-

дельштам «навверняка вспомнил о “школяре” (или, на его языке, школьнике) Вийоне» [31, с. 365]), а чуть раньше — даже с младенцем:

Ряд песен «Paradiso» даны в экзаменационной оболочке, в твердой капсуле экзамена. В некоторых местах даже явственно слышится хриплый бас экзаменатора и дребезжащий голосок бакалавра [23, с. 184].

В то время как вся «Divina Commedia», как было уже указано, является вопросом и ответником, каждое высказывание у Данте буквально вымучивается: то при помощи повивальной бабки, Вергилия, то при участии няньки — Беатриче и т. д. [23, с. 176].

В этих отрывках мотивы школярства и детства появляются в контексте отношений героя-поэта с властью, будь то власть проводников (Вергилия и Беатриче) или «экзаменаторов» (апостолов Петра, Иакова и Иоанна в Раю, спрашивающих у героя определения теологических добродетелей). Такие образы, как «дребезжащий голосок» или «повивальная бабка» и «нянька», очевидно, подчеркивают слабость и беспомощность героя, его зависимость от других.

Можно предположить, что эти описания слабости Данте и его подчиненности чужой власти являются проекциями на него инфантильности, которая, по воспоминаниям некоторых современников, была свойственна самому Мандельштаму в быту и особенно в отношениях с разными государственными инстанциями. Так, К. Мочульский писал о нем: «Доверчивый, беспомощный, как ребенок, лишенный всяких признаков “здорового смысла”, фантазер и чудак, он не жил, а ежедневно “погибал”» [27, с. 65]; Г. Иванов: «Ни одного слова о Мандельштаме я не выдумывал — зачем же выдумывать забавное о человеке, который сам, каждым своим движением, каждым шагом “сыпал” вокруг себя чужаковатость, странность <...>, оставаясь при этом в каждом движении, каждом шаге, “ангелом”, ребенком, “поэтом Божьей милостью” в самом чистом и “беспримесном” виде» [11, с. 83]; Ю. Терапиано: «В жизни Мандельштам был беззащитен, непрактичен, наивен» [39, с. 111]; И. Эренбург: «Часто, слушая его стихи, я думал, что он старше, мудрее меня на много лет. А в жизни он мне казался ребенком, капризным, обидчивым, суетливым» [44, с. 120]. В то же время, жена поэта возмущалась подобными характеристиками, утверждая:

Он никогда не ставил себе целей, не обольщался призраками счастья или удачи, но свой «воздух прожиточный» ценил превыше богатства, славы, хвалы и ласки людей. Это не детские черты — ребенок не знает жизни и полон желаний. Он целиком зависит от окружающих и требует от них внимания. Внутренней свободой может обладать только воистину зрелый человек. Разумные люди говорили о легкомыслии Мандельштама <...>. Все, кто писал о нем, изображали его почти дурачком — вечно смеется, денег зарабатывать не умеет (про это писал и Георгий Иванов, но употребил неточный термин: добывать не умел), словом — солидности никакой <...> Основная черта Мандельштама — он не боролся за свое место в жизни, потому что не хотел [18, с. 150].

Помимо чисто бытовой неприспособленности, т. н. инфантильность, или, точнее, наивность Мандельштама распространялась, по-видимому, и на его отношение к различным политическим и религиозным концепциям. Как пи-

шет С. С. Аверинцев, используя термин самого поэта («С миром державным я был лишь *ребячески* связан...» [20, с. 153]), «даже благорасположенных» современников Мандельштама особенно сильно раздражал

ребяческий характер связи О. М. со всевозможными политическими, конфессиональными и культурными «величественными идеями, похожими на массивные тиары», будь то «Россия на камне и крови» <...>; гражданственность эсеров, Третий Рим Тютчева и Недоброво или Третий Интернационал четвертого сословия, будь то священная держава или святая свобода, будь то католическая теократия по Чаадаеву или православные мечтания Карташева, будь то культурные утопии Вяч. Иванова или антиутопии Анненского [1, с. 127–128].

По мнению Н. Я. Мандельштам, в основе доверия поэта к величественным идеям построения социума и, соответственно, к тем, кто пытался претворить последние в жизнь, лежала его тяга к иерархической организации культуры и бытия в целом:

<...> в социальной жизни он тоже искал гармонии и соответствия частей в подчинении их целому. Недаром он понимал культуру как идею, дающую строй и архитектуру историческому процессу... Он говорил об архитектуре личности и об архитектуре социально-правовых и экономических форм. <...> В демократиях Запада, высмеянных еще Герценом, О. М. не находил гармонии и величия, к которым стремился. Ему хотелось отчетливого построения общества, «лестницы Иакова», как он выразился в статье о Чаадаеве и в «Шуме времени». Эту «лестницу Иакова» он почувствовал в организации католической церкви и в марксизме, которыми увлекался одновременно еще школьником. <...> И в католичестве, и в марксизме он почуял организационную идею, связывающую в целое всю постройку. В Киеве в девятнадцатом году он как-то сказал мне, что лучшее социальное устройство мерещится ему чем-то вроде теократии. Именно поэтому его не отпугивала идея авторитета, обернувшаяся диктаторской властью [17, с. 345–346] (ср. [28, с. 229–230]).

Однако эта тяга Мандельштама к организующей идее была основана на представлении о «внутреннем авторитете, чье назначение не разрушать свободу, а обеспечивать единство», то есть на «авторитете нравственного порядка» [38, с. 101] (ср. также [21, с. 27–34]), который не может совпадать с тоталитарной властью (в итоге глубоко разочаровавшей поэта [17, с. 347]). Такими авторитетами для него были, очевидно, и средневековая философия, и теология (ценная именно в силу своей упорядочивающей структуры), как они представлены в дантовской поэме, а его пиетет к ним отразился в описании отношений Данта-ребенка или Данта-школяра с авторитетами, его «взрослыми» проводниками — Вергилием и Беатриче. Показательно, кстати, что в одном из эпизодов «Черновиков» к «Разговору» прямо цитируется слово «иерархия»; причем Мандельштам уже не называет героя школяром, но, перебирая один за другим «детские» образы, останавливается наконец на образе «бородатого птенца» (в котором, по указанию комментаторов, «совмещаются значения ученичества и зрелой старости» [36, с. 730]):

Действительные тайные советники католической *иерархии* — сами апостолы, и <...> стоит перед ними не *потерявшийся* или *раскричавшийся от зеленой*

гордости или чаемой похвалы школяр, но важный бородатый птенец, каким себя рекомендует Дант, — обязательно бородатый — в пику Джотто и всей европейской традиции [25, с. 459].

Таким образом, мотив детства в мандельштамовском тексте оказывается тесно связан с развитием темы иерархического строя и организующего начала, однако к ней не сводится. В самом деле, с ним напрямую сопряжена также тема народного языка («volgare»), на котором писал Данте:

Когда я начал учиться итальянскому языку и чуть-чуть познакомился с его фонетикой и просодией стиха, я вдруг понял, что центр тяжести речевой работы переместился ближе к губам, к наружным устам. Кончик языка внезапно оказался в почете. Звук ринулся к затвору зубов. Еще что меня поразило — это *инфантильность* итальянской фонетики, ее *прекрасная детскость*, близость к младенческому лепету, какой-то *извечный дадаизм*.

E consolando usava l'idioma
Che prima i padri e le madri trastulla;

.....

Favoleggiava con la sua famiglia
De' Troiani, di Fiesole, e di Roma.

(Par. XV, 122–123, 125–126).

Угодно ли вам познакомиться со словарем итальянских рифм? Возьмите весь словарь итальянский и листайте его как хотите. Здесь все рифмуется друг с другом. Каждое слово просится в *concordanza*.

Чудесно здесь обилие брачующихся окончаний. Итальянский глагол усиливается к концу и только в окончании живет. Каждое слово спешит взорваться, слететь с губ, уйти, очистить место другим.

Когда понадобилось начертать окружность времени, Дант вводит *детскую заумь* в свой астрономический, концертный, глубоко публичный, проповеднический словарь. Творенье Данта есть прежде всего выход на мировую арену современной ему итальянской речи — как целого, как системы. *Самый дадаистический* из романских языков выдвигается им на международное первое место [23, с. 157–158].

Поясняя последний абзац, комментаторы ссылаются на 103–108-й стихи XI песни «Чистилища»:

Che voce avrai tu più, se vecchia scindi
da te la carne, che se fossi morto
anzi che tu lasciassi il 'pappo' e 'l dindi,
pria che passin mill'anni? ch'è più corto
spazio a l'eterno, ch'un muover di ciglia
al cerchio ch'è più tardi in cielo è torto

«Что станет с твоим голосом (voce), прежде чем пройдет тысячелетие, когда бы ты ни умер: покинув ли ветхое тело (т. е. успевшее состариться. — Л. С., Г. Л.), или еще не отвыкнув от “pappo” и “dindi”? А ведь перед вечным <твоим> тысячелетие это самое короткое расстояние (spazio), как одно движение ресниц перед окружностью, что катит самую медленную из небесных сфер» [36, с. 538].

Употребляемые в терцине существительные *pappo* и *dindi* принадлежат к детскому узусу времен Данте (*pappo* — «хлеб», что, по мнению комментаторов,

соответствует нашему «ням-ням», *dindi* — «монетки», или «диль-диль») [36, с. 539]. Также Степанова и Левинтон цитируют перевод Лозинского, где эти слова переводятся как «ням-ням» и «вава». (Кстати, отметим в скобках, что Лозинский не сразу пришел к этому варианту: в недавно опубликованном нами письме к А. К. Дживелегову от 30 сентября 1942 г. он писал: «Вас ужасает “Хиба махом” — жемчужина моего перевода... Ради Вас, я готов поломать голову в поисках чего-нибудь другого. Но знаете ли Вы (или кто-нибудь) общеупотребительные в детском языке русские слова для понятий “хлеб” и “деньги”? А у меня именно хлеб, да еще с маслом!» [14, с. 383]).

В этой части эссе Мандельштам фактически объединяет (при помощи открытой цитаты и аллюзии) два разных и далеко отстоящих друг от друга в дантовском тексте упоминания о детском языке, что явно свидетельствует о заинтересованности русского автора этим дантовским мотивом. Интерес обусловлен убеждением Мандельштама в детскости итальянского языка, доказательства которой он видел в «Комедии» и которая, по мнению Степановой, могла означать для Мандельштама обилие в языке звукоподражательных слов, фонетические повторы, свободное использование словообразовательных моделей и словотворчество вообще [36, с. 539]. Здесь нельзя не вспомнить, что само слово «заумь» отсылает к приемам футуристов, в частности, Крученых и Хлебникова [12, с. 63–64; 13, с. 53–59]. Понятие зауми у Мандельштама, конечно, не сводится к упрощению звуковых образований и словотворчеству; как показал Ж. К. Ланн, «в противоположность хлебниковской и крученыховской зауми, “металогизм” у Мандельштама глубоко тропологичен и лучше всего проявляется в своеобразном использовании тропов поэтической речи» [15, с. 218]. Тем не менее Ланн признает, что «Мандельштам, конечно, знает этот первичный аспект зауми как эксперимента, произведенного над физиологией слова, как *игры простыми звуками языка*» [15, с. 219], и в частности в «Разговоре о Данте» она может пониматься «как художественно симулированная *регрессия к инфантильной стадии речи*» [15, с. 222]. Анализируя поэтические функции грамматики в стихах Мандельштама, Ф. Б. Успенский предположил, что в его творчестве «обращение к элементарной грамматической парадигме <...> есть своего рода <...> припоминание и обращение к опыту детства, опыту первоначального освоения языка», так как поэта увлекает «приближение, своеобразное нисхождение к *основам языка*, сродни тому пути, который прочерчивается в стихотворении “Ламарк” для возвращения к первоосновам жизни» [41, с. 81–82]. Переноса этот тезис в область первичных фонетических и лексических образований, свойственных речи ребенка, можно допустить, что и интерес к детскости итальянского означал для Мандельштама возможность обратиться к «*самой гуще корнесловия*», к первозданной словесной стихии, которую он видел, например, в поэзии Хлебникова [22, с. 67–68]. Вполне возможно, что в лепете ранних лет поэт пытался приобщиться к самому процессу зарождения речи из изначального языкового хаоса (здесь можно вспомнить слова О. Ронена о мандельштамовской зауми как «центральном принципе мироздания, его густо набитой хаосом сердцевины» [34, с. 88]). И детский лепет, о котором писал Данте в приведенных выше эпизодах и на котором писал Данте в представлении Мандельштама, давал такую возможность русскому поэту, который «опыт из лепета лепит / И лепет из опыта пьет», как говорится в стихотворении,

создававшимся в те же годы, что и «Разговор» (1933–1934) [20, с. 187]. Кстати, образ детского лепета обнаруживается и в другом, более позднем, т. н. «лучевом» стихотворении начала 1937 г., в котором возникает и образ дитяти и в котором некоторые исследователи усматривают прямые влияния дантовского «Рая» [7, с. 494–500; 31, с. 419–441]:

Он только тем и луч,
Он только тем и свет,
Что шопотом могуч
И лепетом согрет.

И я тебе хочу
Сказать, что я шепчу,
Что шопотом лучу
Тебя, дитя, вручу... [20, с. 239]

Образ лепета в этом тексте с мотивом детского языка в «Разговоре» связывает Л. Панова, замечая, что в нем «речь лирического героя звучит очень по-детски, в духе тех идиосинкратичных рассуждений об итальянском языке, которые мы находим в “Разговоре о Данте”» [31, с. 434].

В первой редакции «Разговора» от размышлений об инфантильности языка мысль поэта непосредственно перетекает к концепции младенчества в дантовском тексте. Здесь абзацы о детской фонетике оказываются дополнены замечанием о философской состоятельности понятия младенчества (которое отсутствует в конечном варианте эссе):

Ребенок у Данта — дитя, «il fanciullo». *Младенчество как философское понятие с необычайной конструктивной выносливостью.*

Хорошо бы выписать из «Divina Commedia» все места, где упоминаются дети...
E come il fantolin corre alla mamma —

Это он кидается к Беатриче — бородатый грешник, много поживший и высокообразованный человек.

А сколько раз он тычется в подол Вергилия — «il dolce padre»... Или вдрут посреди строжайшего школьного экзамена на седьмом этаже неба — образ матери в одной рубашке, спасающей дитя от пожара [24, с. 415].

В области интереса к концепции дитяти и детскости в творчестве Данте непосредственным предшественником Мандельштама был соотечественник Алигьери поэт Джованни Пасколи [33, с. 267–268; 54], в 1903 г. опубликовавший эссе «Il fanciullino» (Дитя) [59, 1–66]. В нем Пасколи провозглашал, что внутри каждого взрослого скрывается ребенок, который вступает в отношения с миром посредством чувств, воспринимает его всегда с удивлением, открывает в нем недоступное взрослому разуму и, подобно Адаму, нарекает вещи их подлинными именами, познавая во всей полноте; именно голос этого внутреннего ребенка порождает поэзию, основанную на интуитивном, а не рациональном познании мира — поэзию, которую Пасколи называл самой наивностью, упоминая в этой связи и детский лепет. Пасколи, глубокий читатель Данте, неоднократно ссылался на него в своем эссе, в частности на эпизод встречи с Беатриче в земном Раю; однако мотив детства у него раскрывается не в доверии Данте к авторитету

Беатриче, а в возвращении к состоянию райской *невинности*, которое дает поэту-персонажу Матильда — символ дантовского творчества [60]. Впрочем, Мандельштам вряд ли читал Пасколи; пока нам не удалось обнаружить сведений вообще о каких-либо влияниях этого поэта — знатока Данте и античных классиков — на русских литераторов Серебряного века. Можно предположить, что на увлечение Мандельштама понятием младенчества мог повлиять общий интерес культурной среды начала столетия к образу ребенка: в частности, поэт был прекрасен знаком с концепцией детства как точки соприкосновения двух миров — мира материи и мира духа, бытовавшей в творчестве русских символистов, особенно Андрея Белого, который в «Котике Летаеве» описывал дитя не как носителя невинности (новозаветная идея «Будьте как дети» (Мф. 18: 3; здесь и далее цитаты из Библии приводятся по брюссельскому изданию [5]), ибо «таковых есть царствие Божие» (Мк. 10: 14) развиваемая в русской культуре XIX в., в частности, Ф. М. Достоевским [8, с. 68–69]), а как пришельца из духовной реальности, глубокого мудреца, «тысячелетнего старика», «старика ненашего мира» [4, с. 66–67]. Тут можно напомнить и ивановское определение души младенца в поэме «Младенчество»: «И вышла из туманной лодки / На брег земного бытия / Изгнанница — душа моя» [10, с. 231], где в соответствии с платоновским мифом эксплицируется идея временного возвращения души из мира эйдосов [40, с. 189]. Примечательно, что Н. Я. Мандельштам, возмущавшаяся сведением фигуры своего мужа к образу несмышленного дитяти в быту, в то же время подчеркивала интерес поэта к *мудрости младенца* в письме 1969 г. к Н. Струве, очевидно, комментируя по просьбе последнего стихотворение 1936–1937 гг. «Когда заулыбается дитя» [20, с. 208–209]:

О. М. очень любил детей и верил, что младенец «что-то знает» (в то время очень распространенная мысль, не только у Белого). <...> Последних строк много вариантов, и все о космическом знании «младенца». Кроме того, младенец воспринимает мир лежа и все как бы обступает его своей громадностью. (Это уж от Белого). Для него космос — детская комната. Космос для О. М. — материк и океан. Ведь у него детское конкретное мышление [19, с. 292].

Вполне возможно, что, говоря о младенчестве как о философской категории, Мандельштам апеллировал именно к этим знакомым ему представлениям о мудрости новорожденного. Но, с другой стороны, поскольку в упомянутом выше эпизоде первой редакции «Разговора» сразу же вслед за словами о философском понятии приводятся в пример все те же образы «грандиозной музыки доверчивости», выражающие детски-непосредственную готовность Данте обратиться за помощью к Вергилию и Беатриче, то, скорее всего, за концептом 'младенчество' для автора «Разговора» стоит не потустороннее знание о мире, а напротив, смирение и осознание невежества. (Отметим здесь, что Н. Струве, анализируя воронежский цикл, противопоставляет в нем детскость — мудрости: по его мнению, в поэзии Мандельштама это антиномические понятия [38, с. 190].) Детское смирение характеризует в «Разговоре» не только отношения героя с проводниками, но и процесс творчества Данте-поэта (который в эссе трудно отделим от Данте-нарратора): он «ни единого словечка не привносит от себя <...> — он пишет под диктовку, он переписчик, он переводчик <...>

Вот еще немного потружусь, а потом надо показать тетрадь, облитую слезами *бородатого школьника*, строжайшей Беатриче, которая сияет не только славой, но и грамотностью» [23, с. 195–196]. Н. Я. Мандельштам поясняет хрестоматийные строки о диктате так: «это состояние не зависит от воли поэта, напротив, он переживает его, как приказ извне, как воздействие на него чьей-то могучей воли <...> Это мог сказать только поэт, на собственном опыте познавший категоричность внутреннего голоса» [19, с. 57]. Значит, Данте репрезентируется здесь не как великий и мудрый творец, а скорее, как человек, чье творчество totalmente подчинено чужому авторитету; он не творит самостийно, а записывает за неким диктором (имя которого не называется). Мотив детства служит не описанию изначальной премудрости или вновь обретенной райской невинности, а дополнительному акцентированию полной несамостоятельности поэта. «Бородатый школьник» (ср. «бородатый птенец» в «Черновиках») — это не всезнающий и всепомнящий младенец-«тысячелетний старик», а наоборот, взрослый, добровольно ставящий себя в положение ребенка. Тем самым Мандельштам полемизирует с символистской традицией изображать Данте как умудренного пророка, «учителя веры» [43, с. 229–243], постигшего глубокие тайны бытия [55; 35, с. 162–205; 32, с. 111–130; 2, с. 129–191; 3, с. 112–182]. Хотя ученые чаще подчеркивают мистицизм и эзотеризм образа Данте у символистов, важно отметить и то, что у последних он всегда наделен чертами романтического величия: в самом деле, даже если они и говорят о человеческих слабостях Алигьери, то непременно делают акцент на их преодолении [6, с. 229] или на их трагическом характере [26, с. 137–138]. Также — в частности у Брюсова — образ Данте порой бывает монументально-бесстрастен и как бы лишен возрастных черт; Л. Панова замечает, что у Мандельштама «в приписывании Данте-пилигриму свойств старика и мальчика одновременно, а также в акцентировании его сильных психологических реакций сказалось отталкивание от брюсовского Данте в “Венеции”. Там постулировались надчеловеческие интересы, а его внешность описывалась как лишенная признаков возраста» [31, с. 361]. Описание Данте как взрослого-ребенка можно рассматривать, таким образом, как часть стратегии по ниспровержению символистского канона.

Итак, в основе мотива детскости в «Разговоре» лежит, с одной стороны, идея доверчивости / смирения / беспомощности, а с другой — представление о дантовской поэзии как средстве выдвижения детского по своей природе языка на мировой уровень. Теперь, выполняя пожелание самого Мандельштама, рассмотрим те отрывки «Комедии», где упоминаются дети, чтобы понять, близок ли мотив детства в «Разговоре» к этому же мотиву в дантовской поэме. В «Комедии» — в основном во второй и третьей кантиках — образ ребенка действительно встречается множество раз, и для него существует немало синонимов (*pargolo*, *parvolo*, *pusillo*, *fanciullo*, *fante* и уменьшительные от последнего: *fantolino*, *fantino*) — *Purgatorio* (Чистилище) VII, 31; XV, 3; XVI, 86; XVII, 34; XXIV, 108; XXVII, 45; XXX, 44; XXXI, 64; XXXI, 64; *Paradiso* (Рай) I, 102; III, 26; XXII, 2; XXIII, 121; XXVII, 128; XXX, 82; XXX, 140; XXXIII, 107 — главный герой в них сравнивается с ребенком или младенцем (либо же ему приписывается «детское» поведение — *puerile*) как минимум семь раз. Кроме того, Вергилий, обращаясь к нему, обычно называет его *figliuolo* (сын, сынок;

о возможности перевести эту тосканскую форму ласкательно-уменьшительным суффиксом ср. статью «Figliuolo» в «Дантовской энциклопедии» [61]), а сам Данте неоднократно именуется латинского поэта «отцом»; Беатриче же сравнивается им с матерью, а сам он — с ее «бредящим сыном» (*figlio delirio*, *Paradiso I*, 102). В сравнениях Данте с ребенком тема детской невинности или детской мудрости не звучит ни разу (хотя в 127–128-м стихах XXVII песни «Рая» Беатриче утверждает о детях вообще: «*Fede e innocenza son reperte / solo ne' parvoletti*» (Вера и невинность остались теперь / только у детей). Что касается космической мудрости ребенка, то это понятие в принципе абсолютно чуждо дантовской картине мира, соответствующей учению схоластов, по которому разумная душа человека не существует до сотворения и, следовательно, не приходит на землю из иных миров, а создается Творцом отдельно, от раза к разу, при рождении каждого человека, и потому представляет собой, в терминах Фомы Аквинского, развивающего мысль Аристотеля, «*tabula rasa*» [48], или, по определению Данте, «*l'anima semplicetta che sa nulla*» (простую душу, которая ничего не знает) (*Paradiso XVI*, 88). Поэтому закономерно, что во многих случаях, когда автор сравнивает своего героя с ребенком, он делает это именно для того, чтобы подчеркнуть его неразумие, невежество, слабость. Так, в 45-м стихе XXVII песни «Чистилища», после того как Данте, долго не решавшийся последовать за Вергилием сквозь стену огня, немедленно согласился при одном намеке на то, что в земном Раю его ждет Беатриче, Вергилий улыбается своему подопечному, «*come al fanciul ch'è vinto al pome*» (как ребенку, которого уговорили, пообещав ему яблоко). Как поясняют этот стих главный редактор Дантовской энциклопедии У. Боско (U. Bosco) и его соавтор Дж. Реджо (G. Reggio), образ ребенка используется здесь как общеизвестный символ неразумия [46]. Неразумие проявляется и в 26-м стихе III песни «Рая», где Беатриче смеется над «детскими представлениями» («*puèril coto*») героя о душах Луны, а в 64-м стихе XXXI песни «Чистилища» герой и вовсе сравнивается с детьми, которых бранят за неразумные поступки («*Quali fanciulli, vergognando, muti...*» — Как дети, стыдясь, молчат...): согласно К. Стейнеру (C. Steiner), «это сравнение исполнено смирения» [64].

Кроме неразумия, в дантовском тексте образ ребенка действительно может использоваться как метафора доверия, и в остальных случаях сравнения героя с дитятей имеют именно эту функцию. О доверчивости Данте-ребенка в 44-м стихе XXX песни «Чистилища» мы уже говорили в начале работы, но это не единичный случай. В частности, в 1–3-м стихах XXII песни «Рая» звучат такие слова: «*Oppresso di stupore, a la mia guida / mi volsi, come parvol che ricorre / sempre colà dove più si confida*» (Охваченный смятением, к своей проводнице / я повернулся, как ребенок, что прибегает / всегда к той, которой больше всех *доверяет*). Очевидно, именно с ними у Мандельштама произошла контаминация в первой редакции «Разговора», в цитате «*E come il fantolin corre alla mamma*»: это выражение русский автор поясняет как обращение Данте к Беатриче, хотя на самом деле это 121-й стих XXIII песни «Рая», где с ребенком сравниваются души святых, устремленные к Деве Марии. Комментаторы полагают, что это контаминация с 44-м стихом XXX песни «Чистилища» [37, с. 721], но, поскольку именно к Беатриче обращается за помощью герой в начале

XXII песни «Рая», непосредственно предшествующей той, которую цитирует Мандельштам, то есть смысл предположить, что контаминация с 1–3-м стихами XXII песни имела место как минимум наравне с упомянутым стихом «Чистилица». А. М. Кьяваччи Леонарди дает к этим стихам следующий комментарий:

Детское положение сына (здесь по отношению к матери, как в двух предыдущих кантиках к «отцу»-Вергилию) свойственно Данте-персонажу в отношениях с его проводниками, как уже много раз отмечалось: это робкий, утешаемый, наставляемый и упрекаемый ребенок, в соответствии с христианским образом смиренного человека, которому поэт следует на своем пути [52].

Наконец, в 82–84-м стихах XXX песни «Рая» герой наклоняется к световой реке Эмпирея, торопясь напоить светом свои глаза, так скоро, как ни один ребенок, проснувшийся позже, чем обычно, не бросается к материнскому молоку («Non è fantin che sì subito rua / col volto verso il latte, se si svegli / molto tardato da l'usanza sua»). Кьяваччи Леонарди говорит в этой связи, что «только *доверчивому самоотрешению* детства открывается царство небесное» [53], ссылаясь при этом на Мф. 18: 3 и на 111-й стих XI песни «Рая», где рассказывается житие Франциска Ассизского и говорится, что он заслужил награду тем, что — дословно — «сделался маленьким» (*farsi pusillo*):

Сам Франциск <...> называет себя в своих текстах «piccolo e minimo servo» (малым и ничтожным рабом) и называет своих братьев, как Христос своих учеников, «piccolo (pusillus) gregge» (малым стадом). Таким образом, Франциск был велик и заслужил небеса не только или не столько благодаря своей бедности в материальном смысле, но и благодаря тому, что выбрал смиренную малость в глазах мира. Тот же выбор сделал в поэме и сам Данте, позволив вести себя, как неопытного ребенка, сначала Вергилию, а затем Беатриче [50].

Доверие ребенка, таким образом, связывается с францисканским смирением, неопытностью, добровольным выбором быть наставляемым, а не наставником, каким представляет нам своего героя и Мандельштам в «Разговоре» (но не упоминая о христианской составляющей этого выбора, в соответствии с отказом искать анагогические смыслы в поэме). То же смирение выражено и в образе Данте-рассказчика в 107-м стихе последней, XXXIII песни «Рая», где поэт, описывая, как его герой восходит взором по лучу света к самой Троице, говорит, что теперь его речь станет менее подобающей для описания увиденного им, чем речь младенца, который еще мочит язык в материнском молоке. Здесь Кьяваччи Леонарди приводит цитату из Псалтири: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу» (Пс. 8: 3), повторенную и в Евангелии (Мф. 21: 16) [54], а Н. Томмазо цитирует по этому поводу проповедь Григория Великого: «Лепеча, как можем, мы отражаем славу Божию» [65]. Нельзя не вспомнить в связи с этим о повторяющемся образе младенческого лепета в стихах Мандельштама, и особенно в процитированном выше «лучевом» стихотворении («Он только тем и луч, он только тем и свет, / Что шопотом могуч / И лепетом согрет»): возможно, эти строки в какой-то мере вдохновлены дантовским сравнением. Но нить от последнего тянется и ко второй интересующей нас проблеме: какое место занимает тема детского языка в тексте Данте.

Один из новейших комментаторов поэмы, Роберт Холландер, связывает указанный эпизод «Рая» напрямую с темой детского языка (babytalk) в «Комедии» [57], которой посвящает отдельную работу [56, с. 115–129]. Действительно, это один из четырех эпизодов «Комедии», в которых говорится о детском языке и два из которых (Purgatorio XI, 105; Paradiso XV, 122–123) цитирует в своем эссе Мандельштам. Согласно Холландеру, с точки зрения гуманистической культуры великих продолжателей Алигьери — Петрарки и Боккаччо, — само использование народного итальянского языка в литературе — это уже «что-то вроде детского языка, тогда как использование латыни есть признак зрелого автора» [56, р. 116]. (Сравним с этим слова Мандельштама в статье «О природе слова»: «Когда латинская речь, распространившись по всем романским землям, зацвела новым цветом и пустила побеги будущих романских языков, началась новая литература — *детская и убогая по сравнению с латинской*, но уже романская» [22, с. 67]). Кроме того, Холландер полагает, что сама «детская речь является одним из основных предметов интереса Данте в его великой поэме» [56, р. 115]. После тщательного анализа дантовских текстов, включая трактаты «Пир» и «О народном красноречии» и, в частности, 122–123-го стихов XV песни «Рая», Холландер приходит к выводу, что описание детского языка в этом райском эпизоде встречи героя с Каччагвидой отражает размышления Данте о происхождении языка, о «неоформленном семени языка, посаженном во всех нас Богом. Это одна из причин, по которым детский язык радует нас. Он является преломлением “детского языка” начала нашего рода» [56, р. 127]. В дантовском «Раю» ученый обнаруживает доказательства того, что в представлении Данте детская речь тесно связана как с языком Адама, так и с народным итальянским наречием, на котором он пишет (и которое является как бы продолжением языка первого человека); упоминания о детской речи в «Комедии» служат защите и прославлению итальянского языка как стилистически равного латыни и теологически равного языку Адама [56, р. 128]. Таким образом, за «пристальным и любящим вниманием Данте к жестам и словам, характерным для раннего детства» [51], по мнению Холландера, стоят весьма глубокие темы: как стремление поэта познать истоки человеческой речи, так и его желание вывести на новый уровень народный язык, на котором говорят в детстве.

Мандельштам, несколько не совпадая с исследователем в богословской части его рассуждения, тем не менее интуитивно угадывает интерес Данте к детскому языку и значение, которое имеют для него детские слова и звуки при использовании народного наречия, хотя в мандельштамовском представлении координаты смещаются: по мнению Мандельштама, не детская речь служит для Данте способом прославить итальянский язык на мировом уровне, а сам итальянский язык по своей природе является детским, и именно эта его детскость прославляется путем написания великой поэмы. В то же время, если верно наше предположение о том, что внимание к инфантильности языка «Комедии» объясняется у Мандельштама интересом к «нисхождению к основам языка» вообще, то здесь его интерес, очевидно, на каком-то уровне интуитивно совпадает с дантовским интересом к первоистокам человеческой речи.

В общем и целом можно утверждать, что, сосредотачивая внимание на детских эпизодах «Комедии» в «Разговоре», Мандельштам — единственный среди

писавших о Данте отечественных авторов, в т. ч. специалистов — развивает в новом русле один из ключевых мотивов дантовской поэмы, который имеет структурообразующее значение как в мандельштамовской концепции итальянского языка, так и в построении образа героя эссе. Этот образ, во многом являясь автобиографической проекцией автора, тем не менее, наделяется и чертами реального героя поэмы благодаря акцентированию внимания на детских эпизодах, отсылающих читателя и «Разговора», и «Комедии» к темам доверия, смирения и послушания поэта перед лицом высшего авторитета (а не к темам предвечной мудрости или райской невинности ребенка). Инфантилизацию Данте Мандельштамом можно рассматривать также как дополнительную стратегию разрушения символистской модели трагического образа великого флорентийца.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аверинцев С. С. Так почему же все-таки Мандельштам? // Аверинцев и Мандельштам. Статьи и материалы / ред. П. Нерлер, Д. Мамедова. — М.: РГГУ, 2011. — С. 123–131.
2. Асоян А. А. «Почтите высочайшего поэта...». Судьба «Божественной Комедии» Данте в России. — М.: Книга, 1990.
3. Асоян А. А. Данте Алигьери и русская литература. — СПб.: Алетей, 2015.
4. Белый А. Котик Летаев. — Пг.: Эпоха, 1922.
5. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. — Брюссель: Жизнь с Богом, 1989.
6. Гиндин С. И. Брюсов о главном герое «Божественной Комедии» // Дантовские чтения 1971 / ред. И. Бэлза. — М.: Наука, 1971. — С. 234–236.
7. Глазова М. Мандельштам и Данте: «Божественная Комедия» в поэзии Мандельштама тридцатых годов // Глазова Е., Глазова М. «Подсказано Дантом». О поэтике и поэзии позднего Мандельштама. — Киев: Дух і літера, 2011. — С. 487–612.
8. Достоевский Ф. М. Дневник писателя // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. — Л.: Наука, 1981. — Т. 22.
9. Захарьева И. Модель литературного комментария О. Мандельштама («Разговор о Данте») // Аспекты формирования канона в русской литературе XX века. — София: Наука и искусство, 2008. — С. 64–72.
10. Иванов В. Младенчество // Иванов В. Собр. соч.: в 4 т. — Bruxelles: Foyer Oriental Chrétien, 1979. — Т. 1. — С. 229–254.
11. Иванов Г. Китайские тени (фрагменты) // Осип Мандельштам и его время / сост. В. Крейд, Е. Нечепорук. — М.: L'Age d'Homme — Наш дом, 1995. — С. 81–89.
12. Крученых А. Декларация слова как такового // Манифесты и программы русских футуристов / сост. В. Марков. — Мюнхен: Fink, 1967. — С. 63–64.
13. Крученых А., Хлебников В. Слово как таковое // Манифесты и программы русских футуристов / сост. В. Марков. — Мюнхен: Fink, 1967. — С. 53–59.
14. Ланда К. С. «Божественная Комедия» в зеркалах русских переводов. К истории рецепции дантовского творчества в России. — СПб.: РХГА, 2020.
15. Ланн Ж.-К. Мандельштам и футуризм. Вопрос о зауми в поэтической системе Мандельштама // Mandelstam Centenary Conference. Materials from the Mandelstam Centenary Conference. Столетие Мандельштама. Материалы симпозиума / ред.-сост.

Р. Айзелвуд, Д. Майерс. Comp. and ed. by R. Aizlewood, D. Myers. — Tenafly, N. J.: Hermitage Publishers, 1994. — С. 216–227.

16. Левин Ю. И. Заметки к «Разговору о Данте» // Левин Ю. И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. — М.: Школа Языки русской культуры, 1998. — С. 142–153.

17. Мандельштам Н. Я. Воспоминания // Мандельштам Н. Собр. соч.: в 2 т. — Екатеринбург: ГОНЗО (при участии Мандельштамовского общества), 2014. — Т. 1. — С. 79–582.

18. Мандельштам Н. Я. Вторая книга // Мандельштам Н. Собр. соч.: в 2 т. — Екатеринбург: ГОНЗО (при участии Мандельштамовского общества), 2014. — Т. 2. — С. 29–704.

19. Мандельштам Н. Я. Воспоминания. Кн. 3. — М.; Берлин: Директ-Медиа, 2019.

20. Мандельштам О. Э. Стихотворения // Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем: в 3 т. — М.: Прогресс-Плеяда, 2009. — Т. 1.

21. Мандельштам О. Э. Петр Чаадаев // Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем: в 3 т. — М.: Прогресс-Плеяда, 2010. — Т. 2. — С. 27–34.

22. Мандельштам О. Э. О природе слова // Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем: в 3 т. — М.: Прогресс-Плеяда, 2010. — Т. 2. — С. 64–81.

23. Мандельштам О. Э. Разговор о Данте // Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем: в 3 т. — М.: Прогресс-Плеяда, 2010. — Т. 2. — С. 155–202.

24. Мандельштам О. Э. Разговор о Данте. Первая редакция // Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем: в 3 т. — М.: Прогресс-Плеяда, 2010. — Т. 2. — С. 413–454.

25. Мандельштам О. Э. Разговор о Данте. Из черновики // Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем: в 3 т. — М.: Прогресс-Плеяда, 2010. — Т. 2. — С. 455–465.

26. Мережковский Д. С. Данте <Фрагменты> // Данте: Pro et contra. Личность и наследие Данте в оценке русских мыслителей, писателей, исследователей / сост. М. С. Самарина, И. Ю. Шауб. — СПб.: РХГА, 2011. — Т. 1. — С. 31–167.

27. Мочульский К. О. Э. Мандельштам // Осип Мандельштам и его время / сост. В. Крейд, Е. Нечепорук. — М.: L'Age d'Homme — Наш дом, 1995. — С. 65–68.

28. Пак Сун Юн. Органическая поэтика Осипа Мандельштама. — СПб.: Пушкинский Дом, 2008.

29. Панова Л. Г. «Друг Данте и Петрарки друг» // Миры Осипа Мандельштама. VI Мандельштамовские чтения / ред. Н. А. Петрова. — Пермь: Пермский государственный педагогический университет, 2009. — С. 76–115.

30. Панова Л. Г. Данте Алигьери // Мандельштамовская энциклопедия в 2 т. / ред. П. Нерлер, О. Лекманов. — М.: Росспэн, 2017. — Т. 1. — С. 213–220.

31. Панова Л. Г. «Итальянсья, русея». Данте и Петрарка в художественном дискурсе Серебряного века от символистов до Мандельштама. — М.: РГГУ, 2019.

32. Полонский В. В. Русский Данте конца XIX — первой половины XX в.: опыты рецепции и интерпретации классики до и после революционного порога // Литературоведческий журнал. — 2015. — № 37. — С. 111–130.

33. Потапова З. М. Поэзия: [Итальянская литература на рубеже XIX и XX веков] // История всемирной литературы: в 8 т. / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1994. — Т. 8. — С. 266–269.

34. Ронен О. Заумь за пределами авангарда // Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. — М.: Гиперион, 2002. — С. 80–95.

35. Силард Л. Дантов код русского символизма // Силард Л. Герметизм и герменевтика. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2002. — С. 162–205.

36. Степанова Л. Г., Левинтон Г. А. Комментарии. Разговор о Данте // Мандельштам О. Полн. собр. соч. и писем: в 3 т. — М.: Прогресс-Плеяда, 2010. — Т. 2. — С. 530–629.

37. Степанова Л. Г., Левинтон Г. А. Комментарии. Разговор о Данте. Первая редакция. Разговор о Данте. Из черновиков // Мандельштам О. Полн. собр. соч. и писем: в 3 т. — М.: Прогресс-Плеяда, 2010. — Т. 2. — С. 714–741.
38. Струве Н. Осип Мандельштам. — Томск: Водолей, 1992.
39. Терапиано Ю. Встречи (фрагмент) // Осип Мандельштам и его время / сост. В. Крейд, Е. Нечепорук. — М.: L'Age d'Homme — Наш дом, 1995. — С. 110–112.
40. Титаренко С. Поэма Вячеслава Иванова «Младенчество»: символический язык автобиографического мифа и его христианские и розенкрейцерские истоки // Судьбы литературы Серебряного века и русского зарубежья: Сборник статей и материалов. Памяти Л. А. Иезуитовой: К 80-летию со дня рождения. — СПб.: Петрополис, 2010. — С. 183–201.
41. Успенский Ф. Б. Работы о языке и поэтике Осипа Мандельштама: «Соподчиненность порыва и текста». — М.: Фонд Развития фундаментальных лингвистических исследований, 2014.
42. Шиндин С. Категория Средневековья в художественном мировоззрении Мандельштама: общий взгляд // Миры Осипа Мандельштама. VI Мандельштамовские чтения. Материалы международного научного семинара 31 мая — 4 июня 2009 г. Пермь — Чердынь / ред. Н. А. Петрова. — Пермь: Пермский государственный педагогический ун-т, 2009. — С. 63–76.
43. Эллис. Учитель веры // Эллис. Неизданное и несобранное. — Томск: Водолей, 2000. — С. 229–243.
44. Эрэнбург И. Люди, годы, жизнь (фрагмент) // Осип Мандельштам и его время / сост. В. Крейд, Е. Нечепорук. — М.: L'Age d'Homme — Наш дом, 1995. — С. 118–133.
45. Alighieri D. La Commedia secondo l'antica vulgata / a cura di G. Petrocchi: 4 vol. — Firenze: Le Lettere, 1994. — URL: <https://www.danteonline.it/italiano/opere.asp?idope=1&idlang=OR> (дата обращения: 12.04.2020).
46. Bosco U., Reggio G. [Commento al] Purgatorio XXVII, 43–45 // Alighieri D. La Divina Commedia / a cura di U. Bosco e G. Reggio. — Florence: Le Monnier, 1979. — URL: <https://dante.dartmouth.edu/search.php> (дата обращения: 21.03.2020).
47. Cavanagh C. Osip Mandelstam and the Modernist Creation of Tradition. — Princeton: Princeton University Press, 1995.
48. Chiavacci Leonardi A. M. [Commento al] Purgatorio XVI, 88 // Alighieri D. La Divina Commedia / a cura di A. M. Chiavacci Leonardi. — Milano: Mondadori, 1991–1997. — URL: <https://dante.dartmouth.edu/search.php> (дата обращения: 14.03.2020).
49. Chiavacci Leonardi A. M. [Commento al] Purgatorio XXX, 43 // Alighieri D. La Divina Commedia / a cura di A. M. Chiavacci Leonardi. — Milano: Mondadori, 1991–1997. — URL: <https://dante.dartmouth.edu/search.php> (дата обращения: 02.04.2020).
50. Chiavacci Leonardi A. M. [Commento al] Paradiso XI, 109–111 // Alighieri D. La Divina Commedia / a cura di A. M. Chiavacci Leonardi. — Milano: Mondadori, 1991–1997. — URL: <https://dante.dartmouth.edu/search.php> (дата обращения: 15.04.2020).
51. Chiavacci Leonardi A. M. [Commento al] Paradiso XV, 122–123 // Alighieri D. La Divina Commedia / a cura di A. M. Chiavacci Leonardi. — Milano: Mondadori, 1991–1997. — URL: <https://dante.dartmouth.edu/search.php> (дата обращения: 19.02.2020).
52. Chiavacci Leonardi A. M. [Commento al] Paradiso XXII, 2–3 // Alighieri D. La Divina Commedia / a cura di A. M. Chiavacci Leonardi. — Milano: Mondadori, 1991–1997. — URL: <https://dante.dartmouth.edu/search.php> (дата обращения: 20.03.2020).
53. Chiavacci Leonardi A. M. [Commento al] Paradiso XXX, 82–84 // Alighieri D. La Divina Commedia / a cura di A. M. Chiavacci Leonardi. — Milano: Mondadori, 1991–1997. — URL: <https://dante.dartmouth.edu/search.php> (дата обращения: 09.03.2020).

54. Chiavacci Leonardi A. M. [Commento al] Paradiso XXXIII, 106–108 // Alighieri D. *La Divina Commedia* / a cura di A. M. Chiavacci Leonardi. — Milano: Mondadori, 1991–1997. — URL: <https://dante.dartmouth.edu/search.php> (дата обращения: 15.03.2020).
55. Davidson P. *Poetic Imagination of Vyacheslav Ivanov. A Russian Symbolist's Perception of Dante*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
56. Hollander R. *Babytalk in Dante's "Commedia"* // Hollander R. *Studies in Dante*. — Ravenna: Longo, 1980. — P. 115–129.
57. Hollander R. [Commento al] Paradiso XXXIII, 106–108 // Alighieri D. *Inferno, Purgatorio and Paradiso* / translated by Robert and Jean Hollander. — New York: Doubleday / Anchor, 2000–2007. — URL: <https://dante.dartmouth.edu/search.php> (дата обращения: 08.04.2020).
58. Montorfani P., Alziati F. *Giovanni Pascoli*. — Bologna: Massimiliano Boni Editore, 2012.
59. Pascoli G. *Il fanciullino* // Pascoli G. *Miei pensieri di varia umanità*. — Messina: Muglia, 1966. — P. 1–66.
60. Pascoli G. *Il fanciullino*. — URL: https://www.liberliber.it/mediateca/libri/p/pascoli/il_fanciullino/html/fanciul.htm (дата обращения: 03.03.2020).
61. Salsano F. *Figliuolo* // *Enciclopedia dantesca* / a cura di U. Bosco. — Roma: Giorgio Treccani, 1970. — URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/figliuolo_%28Enciclopedia-Dantesca%29/ (дата обращения: 12.02.2020).
62. Scartazzini G. A. [Commento al] *Purgatorio XXX, 43* // *La Divina Commedia di Dante Alighieri riveduta nel testo e commentata da G. A. Scartazzini*. — Leipzig: Brockhaus, 1900. — URL: <https://dante.dartmouth.edu/search.php> (дата обращения: 11.03.2020).
63. Scartazzini G. A., Vandelli G. [Commento al] *Purgatorio XXX, 43* // Alighieri D. *La Divina Commedia col commento scartazziniano rifatto da Giuseppe Vandelli*. — Milano: U. Hoepli, 1929. — URL: <https://dante.dartmouth.edu/search.php> (дата обращения: 23.02.2020).
64. Steiner C. [Commento al] *Purgatorio XXXI, 64–66* // Alighieri D. *La Divina Commedia commentata da Carlo Steiner*. — Torino: G. B. Paravia, 1921. — URL: <https://dante.dartmouth.edu/search.php> (дата обращения: 10.03.2020).
65. Tommaseo N. [Commento al] *Paradiso XXXIII, 106–108* // Alighieri D. *La Divina Commedia con le note di Niccolò Tommaseo e introduzione di Umberto Cosmo*. — Torino: UTET, 1927. — URL: <https://dante.dartmouth.edu/search.php> (дата обращения: 06.04.2020).